

Даниил
ГРАНИН

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ — ПРАВДА

ПЕРЕЧИТЫВАЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ»

И ОМНЮ, как, впервые читая «Севастопольские рассказы», дошел я до смерти Праскухина и как потрясла меня эта сцена. Позже, перечитывая это место, я уже не испытывал такого ошеломления, но обязательно вспоминал то первое ощущение, похожее на электрический шок. В самом деле, отход батальона с передовой, обстрел, уже убывающий, и последний момент, когда в арши- не от Праскухина падает бомба и крутится на земле с шипящей свистящей трубкой, этот, в сущности, миг растягивается пред- смертным ужасом, вереницей чувств, образов, мыслей, какие проходят в воображении Праскухина. Они не просто заявлены, что бывало в описаниях схожих положений героев. Толстой не побоялся раскрыть их, и как! Не просто проходят перед нами воспоминания, свойственные лю- бому человеку: предстает мир чувств именно ротмистра Пра- скухина, человека суетного, мел- кого, уже и до этого представ- ленного не очень симпатичным.

О чем же он думает, что про- носится в его сознании в эти страшные мгновения? Прежде всего — самолюбивое удоволь- ствие от того, что Михайлов, которому он должен двенад- цать рублей с полтиной, гораз- до ниже и около самых ног его «недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе».

И далее одна за другой ме- чутся мысли и чувства столь же ничтожные, поразжающие своей неадекватностью. Но вот среди них возникает и другое — образ женщины, ко- торую Праскухин любил, обра- з с детально трогательной и чем-то жалкой: «в чепце с ли- ловыми лентами». И мы вдруг понимаем, что он на ничтоже- ства, а обыкновенный человек, испорченный средой, что-то сохранивший в себе, что-то берегущий.

Поток этих мыслей и образов мог бы еще растягиваться и до- полняться, но Толстой абсолют- ным чутьем устанавливает меру, и страшный треск взрыва бомбы прерывает невыносимое ожида- ние.

«Слава Богу! я только конту- жен» — было его первой мыс- лью... И мы тоже переводим дух, потому что, сопереживая смертельную опасность, мы уже прониклись сочувствием Пра- скухину, отношение наше к не- му изменилось. Но вслед за ра- достью спасения начинается тво- риться что-то сомнительное, ок- ружающая действительность как бы отодвигается от Праскухина, теряет реальность.

Идут мимо солдаты, мелька- ют, мелькают, и Праскухиным овладевает страх, не страх ра- нения, не то, что кровь из не- го течет, а то, что солдаты его раздают. Движения Пра- скухина становятся мучительно непонятными — это мы, мы не понимаем, что же с ним происходит, и не понимаем, пока вдруг все обрывается по- следней строкой, несмотря на то, что, нежданной, страшной, как выстрел в упор, строкой, пронзившей меня в то первое чтение:

«Он был убит на месте ос- колком в середине груди».

Что ж это такое, значит, он был уже убит, давно убит, мы читали его мысли, надеялись вместе с ним, а он был уже убит осколком в середине гру- ди...

Я не помню, не знаю, где еще в прозе есть, чтобы строка, од- на строка действовала столь сильно, столько бы заключала в себе. Она и оглушает, и озаряет.

Безжалостно высвечивается этот последний миг, еще полный чувств, мыслей, составляющих жизнь Праскухина, то, с чем он уходит. Но все равно, все пред- смертные его тревоги, сомнения, как бы суетны они ни были, все равно это еще жизнь. Нет по- степенного перехода к смерти. Смерть — это разрыв. Границу между жизнью и смертью не за- полнить, не размыть. Толстов- ская строка передает этот ска- чок, обрыв, разлом. Секрет тут и в монтаже, в стыке, а еще и в том, что даны они в прошедшем времени: был убит. То есть смерть последовала, пока мы чи- тали предсмертные мысли Пра- скухина, ибо на самом деле все происходило быстрее, быстрее, чем мы читали. Реальное время врывается в повествование, и Толстой не отталкивает его, а

сталкивает с временем литера- турным, и из этого столкновения возникает вспышка, освещающая таинственный миг смерти.

Описания смерти у Толстого неповторимы, подробны, и вся- кий раз это открытие и художе- ственное, и нравственное, и, может быть, физиологическое. Смерть Андрея Болконского, смерть Ивана Ильича, Анны Ка- рениной, Хаджи-Мурата, Васи- лия Андреича в рассказе «Хо- зяин и работник»... Точно в сильную лупу разглядывает Тол- стой конец человеческой жизни, переход в небытие, стараясь че- рез этот момент понять смысл человеческого существования.

Но откуда все-таки смерть Праскухина кажется неожидан- ной, ведь мы знали, что он по- гиб — глава прямо начинается с сообщения Песта о том, что Праскухин убит? Пест подтверж- дает, что он сам видел смерть Праскухина, и автор, далее упо- миная о ротмистре Праскухине, прибавляет «покойник». Толстой снимает эффект неожиданности, неведенья, он не желает пользо- ваться никакими, самими есте- ственными литературными при- емами, потому что, казалось бы, какое может быть переживание за Праскухина, если уже объяв- лено, что он убит.

А оказывается, может, и еще сильнее переживаем, потому что на войне все может быть, и мы вопреки сообщению надеемся, цепляемся, потому что Праску- хин не готов к смерти, умирает, не зная, что это смерть. Он не думает о смерти в отличие от лежащего рядом Михайлова, ко- торый тоже «необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды...». «Все конче- но! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало...

Перечитывая «Севастопольские рассказы», зная, что Праскухин убит, того первого ошеломля- ющего чувства я, конечно, не ис- пытал. Зато было другое. Бы- ла прожитая мною война, смер- ти, которых я наводился, быст- рые, случайные, нелепые, сколь- ко их было, убитых рядом со мною наповал, «на месте». И, проверяя Толстого собственным солдатским опытом войны, я убеждался в непридуманности, в точности описанного. Это нелег- ко объяснить. Опыта смерти ни у кого нет. От всего виденного и пережитого осталось необъяс- нимое, но ясное ощущение истинности: так могло быть, а так не могло быть. Сколько книг о войне, прочитанных за эти го- ды, коробили своей литератур- ностью и неправдой. Прекрасные

когда-то романы о первой ми- ровой войне перестали читаться. А более чем столетней давности «Севастопольские рассказы» устояли и утвердились, и даже как бы подтвердились. В них не образовалось наивностей или фальши. В них почти ничего не устарело.

В чем тут секрет? Прочность «Севастопольских рассказов» во многом от правды — главного героя рассказов, в верности ко- торому присягнул на этих стра- ницах молодой Толстой. Но раз- ве стареют только те произведе- ния, которые обнаруживают не- правду? Секрет прочности со- стоит не только в правде. Как стареют те или иные рассказы, романы? Одни, казалось бы, та- лантливые (да и на самом деле талантливые) вещи почему-то ветшают, другие нет. Прослужив двум, трем поколениям, казалось бы, классические вещи вдруг, именно вдруг, отвергаются — и не то чтобы новым читателем, нет, бывшие же поклонники от- казываются от них, раздражен- ные незамеченной ранее притор- ностью, многословием, пафосом. Правда, заключенная в них, не в силах поддержать их. В чем тут дело? Слова «талант», «ге- ний» сами по себе ничего не объясняют. Почему «Севасто- польские рассказы» со всеми ав- торскими рассуждениями, поня- тиями того времени, со всей той войной, такой далекой от ны- нешней, остаются с полной си- лой военной прозой? Война в них настоящая, не кажущаяся облегченной, страшная, жесто- кая, требующая мужества, чести, долга.

Из всех героев рассказа «Се- вастополь в мае» Толстому бли- же и приятнее штабс-капитан Михайлов, хотя и в нем он при- знает робость и ограниченность взглядов. Михайлов переживает ту же предсмертность, что и Праскухин, так же все передумал и перечувствовал и простил- ся с жизнью, то есть прошел это наивысшее испытание, кото- рое, казалось бы, должно очи- стить душу. Он увидел смерть вплотную и перед лицом ее должен был понять истинные ценности жизни.

Чувство смерти было пол- ным и потрясло его: «...он так было хорошо и спокойно при- готовился к переходу ТУДА, что на него неприятно действова- ло возвращение к действитель- ности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью».

Он всего лишь ранен, он ос- тается в строю, во имя долга он возвращается назад прове- рить, что с Праскухиным, то есть поступает по лучшим обра- зцам воинской чести. Прав-

да, при этом соображения о награде также присутствуют в его поступках, но в конце концов это совершенно есте- ственно.

Паразитально другое, то, что происходит с ним на сле- дующий день. А что же с ним происходит? А в том-то и де- ло, что ничего не происходит! Он является вечером на тот же бульвар, где раньше про- гуливались офицеры, играет та же егерская музыка. Те же аристократы — Гальцин и Ка- лугин — ведут свои тщеслав- ные разговоры, и вот показыва- ется ЛИЛОВАТАЯ фигура Ми- хайлова «на стоптанных сапо- гач и с повязанной головой» (цвет этот поражает!), и преж- ние чувства стеснения и тяги к этим аристократам возвра- щаются к Михайлову; ему хо- чется показать им, что он зна- ет, что там на передовой, по- казать, что он умеет говорить по-французски. Чувства нич- тожные, казалось бы, недо- стойные человека, который за- глянул в глаза смерти. Нет, оказывается, ничего, почти ни- чего не изменилось. Кажет- ся, любой другой писатель не удержался бы показать какое-то хоть малое изме- нение, духовное приобрете- ние, возрождение, возвышение Михайлова, так это вроде про- сится, так соблазнительно, так, наконец, поучительно, а следовательно, нравственно. А вот Толстой отказывается от этого. Ничего не изменилось, Михайлов так же одинок. Пест так же хвастлив, на бульваре «все те же вчерашние лица и все с теми же вечными побуж- дениями лжи, тщеславия и ле- гкомыслия». И мы понимаем, да так оно и есть, такова пра- да, которую не побоялся изо- бразить писатель, именно в этом правда, и чувство недоу- мения, обиды, досады овладева- ет нами — да как же они, эти люди, не понимают, что так нельзя, что мелкие чувства эти недостойны людей воюющих, готовых к смерти из-за высо- ких убеждений и любви к ро- дине! Но, может, это НАШЕ ЧУВСТВО и есть тот важней- ший нравственный итог, кото- рый мы извлекаем сами, ко- торый не усложняет, не по- учает, а мучает нас и застав- ляет думать, искать ответа на это человеческое такое поня- тие и такое непонятное свой- ство.

В повести все хороши и все дурны, нет в ней ни злодеев, ни героев, и тем не менее откуда- то возникает восхищение защит- никами Севастополя. Откуда оно берется, трудно указать, нет на то в этом рассказе определен- ных сцен, лиц, и тем не менее атмосфера правды рождает ощу- щение мужества, стойкости, этим-то и прекрасна толстовская правда, что чувство это проис- ходит, несмотря на все обвине- ния, несмотря на то, что Тол- стой зло бичует, высмеивает низменные черты защитников Севастополя.

Можно представить себе, ка- кого писательского мужества по- требовала верность такой прав- де. Каждая сцена, каждый эпи- зод подчинен ей, без компро- миссов, без исключений. Все традиции военной литературы, весь пафос войны, все восстава- ло против. Рассказ, особенно этот, второй, изображал войну необычно, вопреки всем прави- лам, без героев, без подвигов. И дело касалось тут даже не только вызова традициям воен- ной повести. Здесь для Толсто- го возник вопрос о мере откры- венности, беспощадности — на что имеет право художник, как далеко он может заходить, изо- бражая дурные черты людей, их пороки, их изменчивость... Впро- чем, он, Толстой, сам куда луч- ше формулирует свои сомнения: «Может быть, то, что я ска- зал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бес- сознательно таясь в душе каж- дого, не должны быть выска- зываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

Тяжелое, мучительное раз- думье сопровождало Толстого в этом рассказе. Война поставила перед ним вопрос, который он решал и далее. Вопрос, который возникал и у других великих рус- ских писателей, вплоть до Мак- сима Горького, и каждый искал для себя ответа заново и нахо- дил в конце концов, принимая так или иначе толстовское реше- ние. Иначе, наверное, не могло быть, иначе истинные таланты не смогли бы осуществить себя, все они приходили к главному герою, тому, «...который, всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

ЛЕНИНГРАД

Книжная графика



А. КОКОРИН. Из иллюстраций к «Севастопольским рас- сказам» Л. Н. Толстого.